

Владимир Галактионович Короленко

**Федор Бесприютный**

**Короленко Владимир  
Галактионович  
Федор Бесприютный**

Владимир Галактионович Короленко  
Федор Бесприютный  
Из рассказов о бродягах

I

Пешая этапная партия подымалась по трактовой дороге на "возгорок".

По обе стороны дороги кучки елей и лиственниц взбегали кверху оживленной кудрявой зеленью. На гребне холма они сдвинулись гуще, стали стеной тайги; но на склоне меж деревьев и ветвей виднелась даль, расстилавшаяся лугами, сверкавшая кое-где полоской речной глади, затянутая туманами в низинах и болотах...

Вечерело. На землю налегала прохлада; кругом все как-то стихло, темнело, заволакивалось синевой, и только кусок широкой дороги меж зеленью елей и лиственниц весь будто шевелился, кишел серыми арестантскими фигурами, звенел кандалами.

Партия растянулась почти на версту. Арестанты разбрелись по сторонам, избегая дорожной пыли, которую взбивала главная масса, двигавшаяся по тракту. Впереди всех, в голове отряда, шли кандалные; телеги с жен-

щинами, детьми и больными перемешались с пешеходами. По опушкам придорожной тайги слышались голоса, хотя и не особенно оживленные. Партия шла вольно; солдаты частью спали в телегах, свесив оттуда ноги в сапогах бураками, частью же мирно беседовали друг с другом, беспечно покуривая на ходу "цигарки" из простой бумаги с махоркой; офицера совсем не было видно. Партия шла на слово старосты Федора, по прозвищу "Бесприютного"...

Голова партии дотянулась уже до вершины холма. Федор Бесприютный взошел туда и, остановившись на гребне, откуда дорога падала книзу, окинул взглядом пройденный путь, и темневшую долину, и расползшуюся партию. Затем он выпрямился и крикнул арестантам:

- Ну, подтягивайся, ребята, подтягивайся! Недалече уже! Хлестни лошадей, подводы! Хлестни лошадей... Ближко!..

Под влиянием этого окрика партия зашевелилась быстрее.

Из кустов выбегали арестанты, телеги встряхнулись, и сапоги бураками заболта-

лись на рысях в воздухе.

Серые разбросанные кучки, оживлявшие дорогу, стягивались в одну плотную массу, которая катилась кверху, туда, где, рисуясь на холодевшем небе, виднелась фигура высокого сторбленного человека.

## II

Обок дороги шел по траве молодой человек, одетый не в арестантское, а в свое собственное платье. Уже это обстоятельство выделяло его из остальной серой массы: его клетчатые брюки, запыленные ботинки, круглая шляпа котелком, из-под которой выбивались мягкие белокурые волосы, синие очки все это как-то странно резало глаз, выступая на однообразном фоне партии. Но, помимо этого, фигура была несколько странна: молодой человек в круглой шляпе шел ровным шагом, выступая немного по-журавлиному, как ходят люди, выработавшие свою походку в кабинете. Теперь он, видимо, сознавал, что он уже не в кабинете, и прилаживал свой шаг к ходу партии. Ему это удавалось, и он был доволен, что сказывалось во всей его фигуре. Он не просто шел, а как бы свершал нечто важ-

ное, и это сознание придавало всей солидно и широко шагавшей фигуре оттенок неотразимого комизма. Черты его лица были тонки, губы легко складывались в какую-то нервную, несколько кривую, но все же очень добрую улыбку. Но синие глаза всегда глядели серьезно, задумчиво, а высокий лоб придавал верхней части лица характер спокойной, ничем невозмутимой мысли.

Его отношения к партии тоже были отмечены характером двойственности и противоречий. "Барину" полагалась подвода, но он ею никогда не пользовался, и партия завладела телегой для своих надобностей. Его присутствие как будто игнорировалось, но вместе с тем, когда чудной барин подходил к кому-нибудь одному или к целой кучке арестантов, люди как будто смущались и робели. Когда думали, что он не видит, то подталкивали друг друга локтями и смеялись, но всякий, на ком останавливался этот задумчивый взгляд, как-то терялся и будто чувствовал, что где-то что-то не ладно.

- Почему вы делаете то или другое? - спрашивал он иногда об артельных порядках, да-

леко не всегда, по его мнению, соответствовавших справедливости.

- Да ведь оно уже заведено, - мямлили арестанты.

Молодой человек задумывался и через несколько минут произносил:

- Но ведь это несправедливо.

- Д-да уж... не очень чтобы правильно, что говорить...

- Значит, надо переменить, - замечал молодой человек, как бы удивляясь, что логическая победа далась так легко, даже без спора.

- Да ведь как уж... не нами заведено... невозможно менять, - возражали арестанты, и губы молодого человека нервно вздрагивали. Он смотрел на людей своим испытующим взглядом, как будто разыскивая в них что-то затерянное. Этот взгляд очень смущал партию: все чувствовали, что этот барин в сущности "младенец", но вместе с тем чувствовали также, что среди них есть человек, который обдумывает каждый их поступок, чуть не каждое слово. Это стесняло партию, но никто не чувствовал против барина недоброжелательства. Вначале выходили иногда споры,

так как он сам решительно отказывался подчиняться тем правилам, о которых шла речь как о несправедливых и неразумных. Но впоследствии на молодого человека махнули рукой. Даже более - смеясь за глаза над барином как над юродивым, партия незаметно меняла тон своих отношений. Цинизм и разгул стихали порой не в силу сознания, но просто потому, что ощущение пристального анализирующего взгляда разлагало непосредственные чувства грубой толпы и умеряло широту размаха.

Так этот странный человек совершал свой путь с людьми и вместе одинокий. Он вместе с другими выходил поутру с этапа и вечером, усталый, запыленный, приходил на другой, всю дорогу думая о чем-то, наблюдая, порой дополняя свои размышления расспросами. Вопросы были непонятны арестантам, а когда, получив ответ, он кивал головой, будто утверждаясь в своей догадке, собеседники переглядывались друг с другом. А молодой человек шел опять своей дорогой, не глядя по сторонам, весь поглощенный какой-то внутренней работой.



Теперь рядом с молодым человеком, держась за его руку, шел мальчик лет пяти, одетый не совсем по росту. Рукава какой-то кацавейки были завернуты на детских руках, талия перевязана белым платком; таким же платком перевязан подбородок, большой картуз с обширным козырьком, из-под которого глядели простодушные синие глаза ребенка. Он старался шагать широко, чтобы не отставать от остальных.

- Так тебя, значит, зовут Мишей? - спрашивал молодой человек, глядя вперед и о чем-то думая.

- Мишей, - повторил мальчик.

- Чей же ты?

- Мамкин... Вот, - указал ребенок на одну из телег, где сидела женщина с ребенком на руках. Она кормила ребенка грудью и в то же время следила взглядом за Мишей, который разговаривал с "барином". Эта женщина припкнула к партии на одном из ближайших этапов, недавно оправившись от болезни.

- Куда же вы идете? - спросил опять молодой человек.

- К тятке идем, - ответил мальчик с дет-

ской беспечностью в тоне.

- А кто твой тятка?

Этот вопрос несколько затруднил мальчишку.

- Тятка-то? - переспросил он.

- Да... кто твой тятка?

- Тятка!.. - ответил мальчик просто, с полной уверенностью, что этим сказано все, что нужно.

- Глупый, не умеешь барину ответить, - наставительно вмешался шедший невдалеке чахлый арестант и как-то снисходительно-заискивающе улыбнулся барину.

- Глуп еще, не понимает, - пояснил он за ребенка, пользуясь случаем, чтобы вступить в разговор. - А ты говори: посельщик, мол, тятка, вот кто.

Мальчишка вскинул глазами на говорившего и, как будто недоумевая, почему к имени его тятки прибавляют незнакомое слово, опустил опять глаза и проговорил угрюмо:

- Нет, тятка он...

Семенов (так звали молодого человека) утвердительно кивнул головой, как будто находя ответ вполне удовлетворительным.

- Глупый младенец, дозвольте вам сказать, - вмешался опять чахлый арестант тем же заискивающим тоном. Он тоже примкнул к партии недавно. Если бы не это обстоятельство, он знал бы, что Семенов если и барин, то не такой, от которого можно пожитья. Но, не успев узнать этого, чахлый арестант все время терся около "барина", подыскивая удобный случай для униженной просьбы в надежде получить полтину-другую ради своего сиротства. Теперь он желал помочь в том же смысле младенцу.

- Кабы ты не глуп был, - наставлял он, - ты бы сказал барину: к посельцику, мол, идем... должна наша жизнь быть теперича самая несчастная, вот что.

Семенов нервно повел плечами и, повернувшись к арестанту, сказал:

- Идите, пожалуйста, своей дорогой.

Чахлый арестант съежился и отошел в сторону, а мальчишка, еще ниже опустив голову, повторил упрямо:

- К тятьке, к тятьке...

- Верно, - сказал молодой человек, и в его голове зароились невеселые мысли.

"Да, - думал он, шагая вдоль дороги, - вот целая программа жизни в столкновении двух взглядов на одного и того же человека: тятка и посельщик... Для других это - посельщик, может быть, вор или убийца, но для мальчишки он - отец, и больше ничего. Ребенок по-прежнему ждет от него отцовской ласки, приветов и наставления в жизни. И так или иначе, он найдет все это... Каковы только будут эти наставления?.."

Молодой человек оглядел бойко шагавшего мальчишку своим задумчивым взглядом.

"Да, - продолжал он размышлять, - вот она, судьба будущего человека. Она поставила уже мальчишку на дорогу. Тятка и посельщик... Две координаты будущей жизни... Любовь сына, послушание отцу - две добродетели, из которых может выработаться целая система пороков. Житейский парадокс, и этот парадокс, быть может, воплотится в какую-нибудь мрачную фигуру, которая возникнет из этого мальчика с такими синими глазами..."

Дальнейшая нить размышлений молодого человека была прервана окриком арестантского старосты. Партия зашевелилась, и

Семенов посадил Мишу на телегу рядом с матерью. Сам он на мгновение остановился и посмотрел в том направлении, где виднелась фигура Бесприютного. Казалось, фигура эта вновь вызвала в его голове новую нить размышлений.

### III

Трудно сказать почему, но именно эта минута, именно этот кусок пути запечатлелся в его памяти с особенной яркостью, и каждый раз, когда он вспоминал впоследствии о Федоре Бесприютном, в его воображении тотчас оживали холмик, и расстилавшиеся у его подножья луга, тихо лежавшие под лучами заката, и холодок близкой ночи, и высокий силуэт человека, стоявшего вверху... И этот голос, звучавший своеобразным, странным призывом.

"Близко!.." Что же близко? - Этап, один из многих сотен этапов на расстоянии тысячеверстного длинного и трудного пути! Странное утешение! Солнце закатывается, день отходит, партия тянется по дороге. И завтра, и через неделю, и через месяц - то же солнце увидит тех же людей на такой же, только,

быть может, еще более трудной дороге, - что за дело? Что за дело, если путь бесконечно длинен, если он пролегает через знойное лето и через холодную страшную сибирскую зиму? Что за дело, если старик, который теперь еле выносит летнее путешествие, наверное не вынесет осеннего. Что за дело, если ребенок, рожденный на этапе весной, умрет на другом этапе осенью. Что за дело и до того, что в конце пути для тех, кто его выдержит, лежит каторжный труд или горькая доля изгнания!

Что за дело! Солнце садится, и отдых близок! - вот что слышалось Семенову в голосе вожака арестантской партии.

Молодой человек ускоренной, но ровной походкой обогнал телеги и подошел к Федору.

- Скоро придем? - спросил он.

- Недалече, - ответил Федор. - Вот в эту падушку\* спустимся, да опять на узгорочек подыдемся. Там от кривой сосны за поворотом всего полверсты будет.

---

\* От слова падь - долина (Примеч. В.Г.Короленко.)

- Да уж Бесприютный знает, - льстиво заго-

ворил тот же чахлый арестант, поспевший за барином. - Чать, Бесприютному этой дорожкой не впервой иттить.

Арестант, очевидно, хотел польстить опытному бродяге, но суровое лицо Бесприютного с резкими чертами, с морщинами около глаз осталось таким же неподвижно суровым. Он осматривал внимательным взглядом свою вагату. Он знал, конечно, что в партии, которую он вел, не может быть побега. Он дал слово начальнику, партия дала слово ему. Ценой этого слова партия покупает известные вольности: возможность по временам снимать кандалы, зайти вперед, прилечь в тени, пока подойдут остальные, отправить в какую-нибудь дереvuшку, в стороне от тракта, несколько человек за сбором подаяния и т.д. И, дорожа этими вольностями, арестанты свято блюдут данное слово, строго следя друг за другом. Но, не опасаясь побегов, Бесприютный боялся, что "шпанка" разбредется по лесу, пожалуй, кое-кто заблудится и отстанет, и таким образом партия явится к этапу не в полном составе. А этого он не любил. Он дорожил своею репутацией; ему было бы неприятно, если бы

про Бесприютного сказали, что у него в партии беспорядок.

Но этого не случилось; все были налицо; вот, звеня кандалами, подходят "каторжане"; громахая, подъезжают подводы с женщинами и детьми; сгрудившись плотной кучей, всходят на пригорок пешие арестанты. И Бесприютный, окончив осмотр, опять двинулся вперед своей развалистой, характерной походкой бродяги.

Шестьдесят верст "на круг" в сутки - такова была эта походка. Так идет человек, у которого нет ближайшей цели. Он не торопится, чтобы прийти до ночи, чтобы не опоздать к обедне в храмовой праздник, чтобы поспеть к базару. Он просто - идет. Дни, недели, месяцы... По хорошей и по дурной дороге, в жару и слякоть, гольцами и тайгой, и ровною Барабинскою степью бродяга все идет к своей неопределенной далекой цели... Он не торопится, потому что торопиться всю жизнь невозможно. Самое страстное, самое горячее стремление в эти долгие месяцы и годы уляжется в привычные, размеренные, бессознательно рассчитанные движения. Туловище



подается вперед, будто хочет упасть, но следующий шаг несет его дальше, и так, покачиваясь на ходу, уставившись перед собой глазами, согнув спину с котелком и котомкой, отмеривает бродяга шаг за шагом эти бесконечные и бесчисленные версты... Эта ровная, неторопливая, хотя и довольно быстрая походка входит в привычку, и теперь, когда Семенов смотрел на фигуру шедшего впереди Бесприютного, ему виделось в этой сгорбленной фигуре что-то роковое, почти символическое. Молодой человек опять кивнул головой. "Понимаю, - подумал он, - выражение этой походки состоит в том, что человек не идет по своей воле, а как будто отдается с полным фатализмом неведомому пространству".

Серые халаты с тузами и буквами на плечах вообще нивелируют всю эту массу. В первое время свежему человеку все эти люди кажутся будто на одно лицо, точно бесконечное повторение одного и того же тюремного экземпляра. Но это только первое время. Затем вы начинаете под однообразной одеждой замечать бесконечные различия живых физиономий; вот на вас из-под серой шапки глядят

плутоватые глаза ярославца; вот добродушно хитрый тверитянин, не переставший еще многому удивляться и та и дело широко раскрывающий голубые глаза; вот пермяк с сурово и жестко зарисованными чертами; вот золотушный вятчанин, прицокивающий смягченным говором. Вы начинаете различать под однообразной оболочкой и разные характеры, и сословия, и профессии - все это выступает, точно очертания живого ландшафта из-под серого тумана.

Но, смотря на Бесприютного, трудно было решить - что это за человек, кем был он раньше, пока не надел серого халата. Тогда как на большинстве арестантов казенное платье сидело как-то неуклюже, не ладилось, топорщилось и слезало - на Бесприютном все было впору, сидело ловко, точно на него шито. Большие руки, дюжая фигура, грубоватые движения... как будто крестьянин. Но ни одно движение не обличало в нем пахаря. Не было заметно и мещанской юркости, ни сноровки бывшего торговца. Кто же он? Семенов долго задавался этим вопросом, но наконец теперь, поняв по-своему "выражение" его походки, он

решил, что перед ним бродяга.

Бродяга - и ничего больше! Все характерные движения покрывались одной этой бродяжной походкой. Глаза Федора глядели не с мужицкой наивностью, в них заметна была своего рода интеллигентность. Ни роду, ни племени, ни звания, ни сословия, ни ремесла, ни профессии - ничего не было у этого странного человека. Он, как и мальчишка, с которым Семенов только что беседовал, пошел в Сибирь за отцом, бывшим крестьянином. Рос он дорогой, окреп в тюрьме, в первом побеге с отцом возмужал и закалился. Тюрьма и ссылка воспитали этого человека и наложили на него свой собственный отпечаток. Пройти столько, сколько прошел бродяга, видеть столько людей, сколько он видел, - это своего рода школа, и она-то дала ему этот умный наблюдательный взгляд, эту немужицкую улыбку. Но эта школа была трагически односторонняя: люди, которых он изучал, были не те, что живут полной человеческой жизнью; это были арестанты, которые только идут, которых только гонят. Правда, во время бродяжества он сталкивался и с сибиряками, жи-

вал по деревням и на заимках. Но опять и тут настоящая жизнь для бродяги была закрыта. Его дом - не изба, а баня на задах; его отношения к людям - милость или угроза. Он знал, в какой стороне чалдон живет мирный и мягкосердный; в каких деревнях бабы ревут ревя, услышав заунывный напев "Милосердной"\* , и где бродяге надо идти с опаской; знал он, где для бродяжки готов хлеб "на поличке" и где встретят горбача винтовкой. Но жизнь семьи, круговая работа крестьянского года, житейские радости, печали и заботы - все это катилось стороной, все это миновало бродягу, как минует быстрое живое течение оставленную на берегу продырявленную и высохшую от солнца лодку.

---

\* "Милосердная" - арестантская песня с чрезвычайно унылым напевом. "Партионные" и бродяги запевают ее, проходя по улицам деревень и выпрашивая подаяния. (Примеч. В.Г.Короленко.)

Эти характерные бродяжьи черты в Федоре Бесприютном соединились с замечательной полнотой, и немудрено: ведь он не знал

другой жизни - жизнь сибирской дороги владела его душевным строем безраздельно. Но, кроме этих характеристических черт, было в фигуре Бесприютного еще что-то, сразу выделявшее его из толпы. Каждая профессия имеет своих выдающихся личностей.

Бесприютный представлял такую личность бродяжьей профессии. Каторжная, скорбная дорога овладела в его лице недюжинной, незаурядной силой.

В волосах Федора уже виднелась седина. На лбу прошли морщины; резкие морщины обрамляли также глаза, глядевшие из глубоких впадин каким-то особенным выдержанным взглядом. Казалось, человек, смотрящий этим странным взглядом, знает о жизни нечто очень горькое... Но он таит про себя это знание, быть может сознавая, что оно под силу не всякому, и, быть может, именно в этом сдержанном выражении, глядевшем точно из-за какой-то завесы на всякого, к кому обращался Федор Бесприютный с самыми простыми словами, скрывалась главная доля того обаяния, которое окружало вожака арестантской партии.

- Бесприютный знает! Бесприютный зря слова не скажет, - говорили арестанты.

И каждое слово человека, глядевшего этим спокойным, сдержанным, знающим взглядом, приобретало в глазах толпы особенную авторитетность. Ко всякому самому простому слову Федора (он был вообще неразговорчив), кроме прямого его значения, присоединялось еще нечто... Нечто неясное и смутное прикасалось к душе слушателя, что-то будило в ней, на что-то намекало. Что это было, - слушатель не знал, но он чувствовал, что Федор Бесприютный что-то "знает"... Знает, но не скажет, и поэтому в каждом его слове слышалось нечто большее обыкновенного смысла этого слова.

В лицо он знал в партии всех, но друзей и товарищей у него не было. Ближе других сошлись с ним два человека, но и с теми соединяли его особые отношения. Первым был старый бродяга, Хомяк, вторым - барин.

Бродяга Хомяк был дряхлый старик. Сколько ему было лет - сказать трудно, но он не мог уже ходить и "следовал" на подводе. Одна из телег, именно та, на которой помещался старик, служила предметом особенных попече-

ний старосты. Он сам настилал в ней солому, прилаживал сиденье, сам выносил с этапа и усаживал старого бродягу. В продолжение пути он то и дело подходил к этой телеге и подолгу шел рядом с нею. Никто не слышал, чтобы они разговаривали друг с другом. Бесприютный только пощупывал сиденье и шел, держась за переплет телеги. Хомяк сидел, свесив ноги, боком к лошадям и смотрел неизменно перед собою неподвижным взглядом. Его руки лежали на коленях, ноги бессильно болтались, спина была сторблена. Густая шапка только наполовину седых волос странно обрамляла темное обветренное лицо, на котором тусклые глаза совсем терялись, что придавало лицу выражение особенного бесстрастия. Картина за картиной менялись, появляясь и исчезая, но эти выцветшие глаза смотрели на все одинаково равнодушно. Старик мог видеть и слышать, но как будто не хотел уже ни глядеть, ни прислушиваться. Он мог говорить, но до сих пор Семенов ни разу еще не слышал звуков его голоса. От всей фигуры веяло каким-то замогильным безучастием; не было в ней даже ни одной черты страдания:

в холод и жар, в дождь и непогоду он сидел одинаково сторбившись и по временам только постукивал пальцем одной руки по другой. Это было единственным проявлением жизни в этой старчески невозмутимой фигуре.

Арестанты говорили, что Федор Бесприютный приходится Хомяку товарищем по прежним бродяжествам.

#### IV

На одной из телег среди всякой арестантской рухляди лежал белый чемоданчик, принадлежавший Семенову. Иногда на этапе он просил старосту принести чемодан, чтобы переменить белье и взять что нужно, и Федор, исполнявший очень внимательно все его просьбы, обыкновенно сам приносил просимое. Этот чемодан и послужил первым поводом для их сближения.

За несколько дней до описываемого случая молодой человек попросил принести чемодан. Федор принес и отошел было, как всегда, пока молодой человек разбирался, но, оглянувшись как-то, староста увидал, что Семенов открыл одну из крышек и стал разбирать книги. Вынув одну из них, он закрыл чемодан



и лег с книжкой на нарах. Федор посмотрел несколько секунд будто в нерешительности, потом подошел к Семенову и сказал:

- Книжки у вас?

- Книжки, - ответил Семенов и, взглянув на Федора из-за страницы, спросил: - А вы читаете?

- Мерекаю самоучкой, - сказал бродяга, приседая у чемодана и без спроса открывая крышку. Семенов смотрел на это, не говоря ни слова. Федор стал раскрывать одну книгу за другой, просматривая заглавия и иногда прочитывая кое-что из середины. При этом его высокий лоб собирался в морщины, а губы шевелились, несмотря на то, что он читал про себя. Видно было, что чтение стоило ему некоторого усилия.

- Нельзя ли и мне какой-нибудь книжечки почитать? - спросил он, продолжая перелистывать книги одну за другой.

Молодой человек приподнялся.

- Возьмите, - сказал он живо и как будто обрадовавшись, - не знаю только, найдете ли вы что-нибудь интересное.

- Ну, ничего, - сказал снисходительно бро-

дыга, - все-таки время провести. Конечно, и в книгах тоже... настоящего нету.

- Настоящего? - удивился Семенов. - Как это странно! Каждая книга говорит о каком-нибудь одном предмете, и, если бы у меня их было побольше, вы, вероятно, нашли бы, что вам нужно.

Бродяга слегка усмехнулся, и в его глазах промелькнул мгновенно огонек, опять в них засветилось такое выражение, как будто бродяга знает и по этому предмету кое-что, но возражать не желает.

- Читал я их, - продолжал он, помолчав и по-прежнему рассматривая книги, - немало читал. Конечно, есть занятные истории, да ведь, поди, не все и правда... Вот тоже у поселенца одного, из раскольников, купил я раз книжку; называется эта книжка "Ключ к таинствам природы"... Говорил он, в ней будто все сказано как есть...

- Ну и что же?

- Да нет, толку мало. Неотчетливо пишет этот сочинитель. Читаешь, читаешь, в голове затрещит, а ничего настоящего не понимаешь. Вечная единица, треугольники там, выс-

шая сила... а понять ничего невозможно. Конечно, я человек темный, а все же, думаю, обман это, больше ничего.

- Я тоже думаю, что вам попало не то, что нужно...

- То-то и я думаю. Надо чем-нибудь кормиться хоть бы и сочинителям.

Перебирая книги одну за другой, он вдруг со вниманием остановился на одном заглавии.

- Это что же такое? - сказал он, поворачивая заглавие.

Это были "Вопросы о жизни и духе" Льюиса.

- Это насчет чего? - спросил бродяга, с любопытством осматривая со всех сторон книгу.

Молодой человек затруднился ответом. Если заглавие непонятно, то что же сказать в объяснение? Как пояснить содержание трактата о сложных "проклятых" вопросах, над которыми, быть может, никогда не задумывался этот человек, с трудом разбирающий по складам?

- О жизни и духе!.. - задумчиво повторил между тем бродяга и опять с видом удивле-

ния стал поворачивать книгу во все стороны, осматривая и корешок, и коленкорный переплет, и даже самый шрифт. Казалось, он удивлялся, что книга с таким заглавием так проста на вид. Быть может, он ожидал встретить "вопросы о духе" в каком-нибудь фолианте, переплетенном в старинный сафьян.

- Это насчет жизни и, например, о душе?.. Так, что ли?

- Да, - ответил молодой человек нерешительно.

Бродяга пытливо посмотрел на него.

- И все тут сказано?.. явственно?..

- Как вам сказать?.. конечно, все, что мог сказать этот писатель. Но явственно ли?.. Знаете что! Лучше возьмите какую-нибудь другую книжку.

Бродяга с живостью отдернул книгу, к которой молодой человек протянул было руку.

- Нет уж, дозвоьте мне этой книжки почитать... Ежели тут насчет души и о прочем...

- Извольте, - неохотно ответил молодой человек. - Если встретится вам что-нибудь непонятное, слово какое-нибудь, выражение, я с удовольствием постараюсь вам разъяснить...

- Нет, что выражение, выражение ничего не составляет. Конечно, мало ли их, слов-то непонятных. Ну да все же прочитаешь раз, прочитаешь другой, оно и видно, к чему что идет. Так можно?

- Можно.

- Спасибо, - сказал он и опять взглянул в книгу. - "Вопросы о жизни и духе", - прочитал он еще раз с расстановкой. - Должно быть, она самая!..

Он встал, но, подымаясь, раскрыл книгу на предисловии и зашевелил губами, прочитывая кое-что на выдержку. Одна фраза остановила на себе его внимание. Что-то вроде удовлетворения мелькнуло в его лице и в глазах, когда он взглянул на молодого человека.

- Вот, - сказал он, ткнув пальцем в одно место, и затем прочитал: "Наш век страстно ищет веры". Это верно, - подтвердил он с какой-то наивной авторитетностью, махнув головой.

Молодой человек усмехнулся.

- Верно, - подтвердил бродяга, - сколько теперь этих самых молоканов да штундистов с партиями гонят. И что ни дальше, то боль-

ше. Ну, спасибо. Эту книгу я теперича беспрерывно читаю.

И он ушел.

Когда наступила ночь, в камере этапа не спали только два человека. Бесприютный, полулежа на нарах, при свете сального огарка поворачивал страницу за страницей. Лицо его выражало сильное, почти болезненное напряжение мысли, морщины на лбу углубились, и по временам, когда бродяга отрывался от книги и, устремив глаза в потолок, старался вдуматься в прочитанное, - на лице его явно виднелось страдание.

Не спал и молодой человек. Лежа под открытым окном - это было его любимое место, - заложив руки за голову, он задумчиво следил за читавшим. Когда бродяга углублялся в книгу и лицо его становилось спокойнее, на лице молодого человека тоже выступало спокойное удовлетворение; когда же лоб бродяги сводился морщинами и глаза мутились от налегавшего на его мысли тумана, молодой человек беспокоился, приподымался с подушки, как будто порываясь вмешаться в тяжелую работу.

Он был утомлен дневным переходом. Все члены ныли от усталости, и он чувствовал потребность в успокоении. Но голова его горела, глаза тоже были охвачены будто кольцами лихорадочного жара, он беспокойно метался каждый раз, когда шелест перекидываемой страницы долетал до его слуха среди сонных звуков камеры.

"Что-то он найдет в моей книге, - думал он, - этот наивный вопрошатель? Найдет ли хоть частицу того, что ему нужно?"

И молодому человеку глава за главой вспоминалась вся книга. Живучесть проклятых вопросов... Определение метафизики. Метод научный, метод эмпирический, метэмпирический метод... Что же тут почерпнет этот самоучка, что он поймет во всех этих определениях, зачем ему вся эта история бесплодных исканий, это блуждание за заблудившимися в бесконечном лабиринте?

Молодой человек смотрел теперь на труд мыслителя с особенной точки зрения; он хотел представить себе, что может почерпнуть из него человек, незнакомый со специальной историей человеческой мысли, и он метался

беспокойно, боясь, не дал ли он просившему камень вместо хлеба. Эта работа внимания и воображения утомила Семенова. Голова его отяжелела, тусклый свет огарка стал расплываться в глазах, темная фигура маячила точно в тумане.

## V

И приснился молодому человеку странный сон. Видел он густой темный лес ночью... Во мраке качались гигантские ветви, старые стволы стояли, точно великаны-призраки, и ни одна звезда не заглядывала в чащу, ни один луч не освещал темноты. Толпа людей билась в этом лесу, разыскивая, где выход к вольному простору и свету. Долго шла толпа, расчищая путь, прорубая просеки, прокладывая в лесу дороги. Куда вести эти дороги, так ли направлены просеки, кратчайшим ли путем приведут они к выходу, туда, где солнце золотит нивы, люди не знают. Лишь только бледная заря разольется по лесной глуши, люди встанут ото сна и поведут дальше работу. Сзади за ними теряется в бесконечном лесу пройденный путь, вперед призывает работа, и пот выступает на лбу, и ноют усталые чле-



ны, а люди рубят деревья, стелют мосты, жгут и уничтожают чащу. Ночной отдых сменяет усталость дневной работы. Приходит смерть, и люди ложатся в могилы, в темноте чащи, обращаясь головами туда, откуда - они верят - свет светит и лежит страна, которую они ищут. Там ли она, так ли направили они свою тяжелую работу - они не знают. Знают другие. Им известно только, что они тяжело трудились, что заслужили отдых, чтобы завтра, трудиться опять, или смерть, чтобы успокоиться навеки.

Толпа спит спокойным трудовым сном. Но в ней есть люди, которых члены не ноют, над которыми сон не налег так тяжело, как над остальными, потому что их работа легче. У них были глаза острее, слух чутче, и потому они не рубили дерев, не копали землю лопатами, не настиляли мостов. Они проверяли пути, они ходили вперед, они ставили позади вехи и вечно думали о той стране простора и света, куда стремились. Иногда они подымались на высокие деревья... Но оттуда только бесконечное море древесных вершин колыхалось и шумело листвой... То самое море, на

дне которого там назади - в тесных могилах - полегло столько людей, искавших выхода... И люди спускались опять в чащу, исследовали и меряли путь, а сердца их нередко сжимались от боли, их душу тяготило чувство ответственности, но члены их не ныли и ноги не подкашивались от утомления.

И вот раз в глухую полночь они поднялись от сна и, оставив спящую толпу, пошли в чащу. Одних неодолимо влекло вперед представление о стране простора и света, других манил мираж близости этой страны, третьим надоело тянуться с "презренной толпой, которая только и знает, что спать да работать руками", четвертым казалось, что все идут не туда, куда надо. Они надеялись разыскать путь своими одинокими усилиями и, вернувшись к толпе, сказать ей: вот близкий путь. Желанный свет тут, я его видел...

И эти люди пошли, а толпа еще спит. До зари далеко, кругом темно. Далеко зашли ушедшие, и многим уже не вернуться. Они сбивались с пути, возвращались, встречались друг с другом и расходились опять. Они менялись опытом своих неудач и успехов, они ставили

свои вежи, делали свои зарубки, условные знаки, понятные другим искателям. Иногда кто-нибудь из них натыкался на какой-нибудь символ, смысл которого не давался пониманию. Тогда сходились другие и по большей части разглядывали знак: знамение неведомой гибели и незнакомой доселе опасности. И так прошло много дней и ночей. Толпа осталась где-то далеко, продолжая прежде намеченный путь, а те, что ушли вперед, - все шли, у них выработался свой условный язык, свои знаки...

И вот в одну ночь, когда отдохавшая толпа спала, как прежде, еще один человек поднялся задолго до зари и, беспокойно оглядевшись, тоже пустился в чащу. И чаща замкнулась за ним. Он искал пути, как и другие, но был один. Ему непонятен условный язык. Он остановился у громадного столетнего дерева и, подняв свой фонарь, с тоской рассматривает зарубку... Знак, когда-то высеченный твердой рукой, стоит перед ним неведомым иероглифом, и, несмотря на это указание, чаща стоит вокруг него полная прежней тайны, и мрак кажется еще глубже, лесная глушь еще

враждебнее и страшнее... Зачем он поднялся, что его разбудило?

Молодой человек спал плохо. Он метался, и весь этот сон проходил в его мозгу, как это нередко бывает, то в виде образов, то будто написанный где-то, то как воспоминание о чем-то рассказе, звучавшем в его ушах и отдававшимся в сердце скорбными нотами какого-то незнакомого голоса... Только лицо человека, стоявшего перед знаком на дереве, вдруг встало в его воображении с такой знакомой яркостью, что он проснулся и окинул камеру мутным взглядом... Действительность не сразу овладела сознанием. В обширной камере вповалку спала толпа, и один человек склонился у самого огарка над книгой с выражением тоскующего недоумения...

Молодой человек быстро отвернулся. В нем шевельнулась досада. "Что это такое, - думал он, - или я в самом деле становлюсь болен и начинаю бредить?.. Чем я виноват и что мне за дело?.. Я не бросал спящей толпы, я не уходил от нее в чащу, и, наконец, не я и разбудил этого человека... Не я виновен, что путь мысли труден, что они не понимают

условных знаков на пути... Я сам родился где-то на глухом бездорожье и сам вынужден искать пути в глухой чаще..."

И молодой человек заснул...

Между тем бродяга прекратил чтение; он посидел некоторое время отуманенный, с выражением разочарования, затем оглядел книжку со всех сторон удивленным и насмешливым взглядом, точно удивляясь, как мог он ждать от нее чего-либо и тратить на нее так много времени... Если бы молодой человек видел все это, то его сон был бы менее спокоен и на его лице едва ли горела бы улыбка...

На следующий день была дневка, затем опять два дня пути с остановками только для ночлегов, и опять дневка. Все это время Бесприютный не заговаривал о книге и как будто избегал Семенова.

## VI

Когда теперь на гребне холма Семенов подошел к старосте, на лице Бесприютного виднелось сдержанное и холодное выражение.

- Ну, как вам понравилась книга? - спросил молодой человек.

- Ничего, книга хорошая, - сказал Федор, но в его тоне слышалось полное осуждение книги; он говорил о ней так же, как отзывался раньше о тех, которые помогают "провести время"; вслед за тем он неожиданно заговорил о другом предмете:

- Которая в этой книге вложена карточка, - это кто такие вам приходится?

Семенов вспомнил, что действительно он вложил в книгу фотографию и, забыв об этом, после не мог разыскать карточку.

- Это, должно быть, моя сестра, - ответил он.

- Сестра, - проговорил Бесприютный задумчиво, и Семенова поразил особенный тон, каким звучало в устах бродяги это слово; казалось, все, что можно соединить любовного и нежного с идеальным представлением о сестре, все вылилось в голосе Бесприютного. - Сестра... так... у меня тоже есть сестра... две сестры было...

- Было? А теперь?

- Да, чай, и теперь есть.

- Вы их давно не видали?

- Давно. Мальчонкой по улице вместе беги-

вали. С тех пор... Чай, теперь такая же, как и ваша. Только моя - крестьянка. Ну, да ведь все равно это... Все ведь равно - я говорю?

Семенов невольно посмотрел в лицо Бесприютного при этом повторенном вопросе. Суровые черты бродяги будто размякли, голос звучал тихо, глубоко и как-то смутно, как у человека, который говорил не совсем сознательно, поглощенный страстным созерцанием. Семенову казалось тоже странным, что бродяга говорит о сестре, тогда как у него были сестры, как будто представление о личности стерлось в его памяти и он вспоминал только о том, что и у него есть сестра, как и у других людей.

- А мальчик, - спросил он опять, - чать, сынок ейный?

- Да.

- Вам значит - племянник?

- Конечно.

- Чать, и у моей тоже... племянник... - сказал он по-прежнему тихо и с тем же затуманенным взглядом.

Пройдя несколько сажений, он встряхнулся и резко вернулся к началу разговора.

- Не совсем и эта книга хороша. Не договаривает сочинитель.

- Чего не договаривает? - удивился Семенов.

- Нет настоящего... - И, видя, что молодой человек ждет пояснений, Бесприютный заговорил серьезно и с расстановками. - Не договаривает!.. Да!.. Как то есть надо понимать. Вот у вас племянник. Чать, у него отец с матерью?

- Да.

- Ну, подрастет, станут наставлять... потом в школу, потом к ремеслу аль к месту. Верно?

- Конечно, - ответил молодой человек, недоумевая, к чему клонится этот разговор.

- Ну вот. Это ведь всегда так. Взять хоть скотину: гонят ее, например, по дороге к околице. Станет теленок брыкаться, с дороги соскакивать, сейчас его пастух опять на дорогу гонит. Он вправо - он его справа кнутиком, он влево - его и слева. Глядишь - и привык, придет в возраст, уж он ни вправо, ни влево, а прямо идет, куда требуется. Верно ли?

- Верно.

- То-то. Так вот и с человеком все равно.



Только бы с малых лет не сбился, на линию стал. А уж там, на какую линию его установили, - не собьется.

- Это верно все, но к чему вы это говорите?..

- А к тому и говорю, что племянник-то ваш, я вижу, сытенький мальчик, и притом с отцом, с матерью. Поставят его на дорогу, научат, и пойдет он себе жить благородно, побожьему. А вот Мишка, с которым вы сейчас шли, с малых лет все по тюрьмам да на поселении. Так же и я вот: с самых с тех пор, как пошел за отцом, да как мать померла, я, может, и человека хорошего не видал и слова хорошего не слышал. Откуда мне было в понятие войти? Верно ли я говорю?

- Что же дальше?

- Ну вот! Может, спросили бы меня теперь, я бы согласнее в младых летах свою жизнь кончить, чем этак-то жить. И верно, что согласился бы. Так ведь у меня никто не спрашивал, а сам я был без понятия... Положи сейчас кусок хлеба, пущай мимо голодная собака бежит. Ведь должна она этот хлеб схватить. Ну, так и я. Вот и вырос. Жить мне негде, к ра-

боте не приучен. Идешь по бродяжеству - тут всего бывало: где подают, ну а где и сам промышляешь. Помню это в первый раз мы с отцом да со стариком вон с тем шли. Оголодали. Вот подошли ночью к амбару, в амбаре оконце. Ломать ежели амбар - услышат. Подсадил меня отец к оконцу: "Ну-ко, говорит, пробуй, Федька, пролезет ли голова. Голова пролезет, так и весь пролезешь". А мне боязно: в амбаре-то темно, да еще, может, и чалдон сторожит где-ни-то за углом. А тоже послушаться не смею. Сунул голову. "Не лезет", говорю (а голова-то ведь лезет!). Вот и слышу, говорит отец Хомяку: "А что, брат Хомяк, ничего не поделаешь, - видно, ломать придется". - "Плохо, - тот отвечает, - услышат на заимке или собака взлает. Народ здесь - варвар - убьют". - "Да ведь как быть, - отец отвечает, - мочи моей нет. Ведь я вторые сутки не ел, вчерась свой кусок мальчонке отдал..." Повернулось у меня сердце, куда и страх девался. Сунул голову в оконце. "Тягька, кричу, тягька! Голова-то пролезла!" Ну, вот... А там и пошло; со временем все больше да больше... Вот она наука-то моя. Поставили меня на линию тоже... А теперь

должен я за это отвечать?.. Это как?

- Что же, - заметил Семенов, - если бы вас судили судом присяжных, то, вероятно, все это приняли бы во внимание...

Но тотчас он понял, что сказал ужасную глупость. Бесприютный окинул его быстрым взглядом, в котором он прочел удивление, а затем что-то вроде пренебрежения. И тотчас точно луч блеснул в уме молодого человека: он сообразил теперь, о какой ответственности говорил бродяга, в чем этот человек сомневался, чего добивался от книги.

- Продолжайте, - сказал Семенов, - я ошибся, но теперь понимаю.

По-видимому, бродяга убедился, что недо-  
разумение действительно рассеяно.

- Каждый человек поставлен на линию, - подтвердил он, - вот что. Как же теперь понимать, за что отвечать человеку? Шел два года назад арестант один, так тот так понимает, что ничего этого нет. Помер человек, и конечно. Больше ничего. Все одно - как вот дерево: растет, качается, рождается от него другая лесина. Потом, например, упадет, согниет на земле - и нету... И растет из него трава. Ну, опять

на это я тоже не согласен...

Он прошел несколько шагов молча и опять, как Семенову показалось сначала, заговорил о постороннем:

- Третий раз я бежал в ту пору. Отец у меня уже помер, товарища не было, пошел один. Ну, скучно было. Тайгой иду, и все вспоминается, как мы тут с отцом шли. Только раз ночью бреду себе знакомой тропкой, запоздал шибко, до ночлега. Хотел в шалашике ночевать, который шалаш мы с отцом когда-то вместе строили. Только подхожу к шалашу - гляжу: огонек горит, и сидит у огонька старик бродяга. Исхудалый, глаза точно у волка. Кидает он на огонь сучья, сам к огню тянется, дрожит. Одним словом, оголодал, и одежда на нем рваненькая. Почитай, нагишом совсем... Вот хорошо, я даже этому случаю шибко обрадовался, - думаю, товарища встретил. Покормил я его, чем богат, чайком обогрел. Посидели, потолковали, - спать!.. Лег я, халат под голову положил... полежал - слышу: встает мой старик, из шалаша вон выходит. "Куда?" - спрашиваю. "Да так, говорит, не спится что-то. Пойду к ручью, водицы в котелок

возьму да сучьев натаскаю: завтра пораньше чай варить. Да ты что же, молодец, головой-то под самый навес уткнулся, - чай, ведь душно..." А меня покойник отец учил: случится, говорит, с незнакомым человеком ночевать, пуще всего голову береги. В живот хоть, может, и ткнет, все же труднее убить. А по голове ничего не стоит. Вот я, хоть насчет старика этого и в уме у меня не было, а все же завет отцовский берегу. "Ничего, говорю, в привычку мне этак, и комар не ест". Хорошо!.. Ушел старик к ручью, не идет да не идет. Ночь, помню, темная была, на небе тучи, да еще и неба сквозь дерев не видать. Огонек у входа эдак дымит, потрескивает, да листья шелестят. Тихо. Вот лежал я, лежал - и вздремнул, да не очень крепко. Только слышу - вдруг отец меня окликает: "Федор, не спи!" Так это будто издалека слышно. Открыл я глаза, гляжу опять - огонек дымит да ветка качается. Я опять заснул. Только слышу опять, будто идет кто к шалашу и даже так, что вижу - за огоньком эдак кто-то стоит. И опять: "Эй, Федор, не спи!" Вот я опять и проснулся. Что, думаю, такое это? Ну, как за

день я сильно притомился, то и не могу вовсе проснуться - глаза так и слипаются. Заснул опять, да, видно, еще того крепче. Прошло сколько-то времени. Опять слышу подходит отец, стал в дверях шалашика, руки эдак упер, сам наклонился ко мне в дыру-то: "Слышь, Федор, не спи, а заснешь - навеки!" Да таково явственно сказал, что сон с меня все соскочил. Гляжу: нет никого, огонек погас, почитай, вовсе, по листьям дождик шумит. И будто за костром кто-то маячит так помаячил и исчез. Поднял я голову: "Что бы это, думаю, могло обозначать? Видно, неспроста. А где, мол, старик проходящий, что это он в дождь по тайге ходит?" И вдруг опять кто-то крадется тихонько к шалашу. Подошел этот старик, остановился у самого того места, куда я головой улегся, потом слышу - шарит осторожно, хворост разворачивает. Встал я незаметно, выхожу из шалашика. "Что это, мол, ты делаешь, почтенный?" А у него, подлеца, уже и шелеп изготовлен: в тайге вырезал здоровенную корягу... Да, вот оно дело какое. Как же теперь надо понимать: ведь уж это явственно ко мне отец приходил с того свету.

Кабы с другим было - может быть, и не поверил, а ведь со мной...

Несколько шагов они прошли молча.

- Рассказать вам, что после у меня с этим стариком вышло? - спросил бродяга, кинув искоса взгляд на молодого человека.

- Расскажите.

- Да, вот я вам расскажу, а вы подумайте, как оно бывает иногда. Потому: вы еще молоды. Книжек-то вы читали много, ну а все же пожили бы с мое, увидали бы такое, чего и в книжках нету. Вот, когда услышал старик такие мои слова, - бросил свою корягу, сел к огню и говорит: "Ну, бей, говорит, ты человек молодой и в силе. Мне с тобой не справиться, а без одежды да без пищи я все равно в тайге смерть приму. Так уж лучше сразу..." Посмотрел я на старика этого: ноги у него в кровь изодраны, одежонка рваная, промок, дрожит весь; борода лохматая, лицо худое, а глаза горят, все равно как угли. Видно, лихomanка к нему привязалась не на шутку. Жалко мне его стало. "Ты что же это, говорю, на подлости пошел? Я тебя хотел вместо товарища взять, весь бы запас разделил пополам,

а ты что задумал?" - "Не хватит, - говорит старик, - все одно на двух-то..." А запасу, правду сказать, и у меня было немного. Тайгой этой идти надо было еще дён шесть, а то и больше, а мне одному-то на три дня в силу хватит. Ну, думал себе, ягодой, мол, станем пробавляться да корнем - как-нибудь выберемся. А как увидел его поступки, тут уж какое товарищество, конечно... Однако отделил сколько-то сухарей, да чаю, да табаку немного и говорю: "Бери! Я на тебе зла не помню". Взял он, сгреб все обеими руками, сам на меня глазами уставился не стану ли отнимать... Вижу я: в глазах у него точно огонь бегают. Даже страшно. Собрался я, подвязал котомку и котелок - пошел. Прошел сколько-то, оглядываюсь: старик мой тоже собирается. Завязал все кое-как в узел, айда за мной... Верите, сколько я с ним муки принял, так это и рассказать невозможно. Ни отдохнуть, ни поспать - сейчас он тут как тут. Видели вы летом слепую муху, как она к скотине привяжется? Ну, так и этот старик. И ведь не думайте, нисколько моего добра не помнил: чуть, бывало, прилягу к ночи, прислушаюсь: уж он тут... крадется в тайге и все с



корягой. Как только поспевал за мной - удивительно! Я иду скоро, как могу, а он не отстает, да и только. Вот подошел я к нему раз и говорю: "Что тебе надо? Отстань, а коли не отстанешь, тут и жизни твоей конец..." Хотел запугать, да где тут! Отошел я версты три, к вечеру дело было, и думаю: "Дай схоронюсь за дерево, обожду", а сам огонек разложил небольшой в другом месте, подальше. Только, этак через полчаса времени, гляжу, выходит мой старик на тропку... идет, как медведь, переваливается, глаза горят, сам носом по воздуху так и водит. Завидел мой огонек и сейчас в тайгу, да стороной-то, да крадучись, так и ползет к огню с корягой... Что мне тут делать: парень я молодой, непривычный, кругом, может, на сколько верст души человеческой нету, только лес один, на сердце и без того тоскливо, а тут этот старик увязался. Заревел я тут, просто сказать, по-бабьи, да ну бежать. Бежал, бежал, сколько было мочи; наконец притомился, лег и заснул. Сколько-то проспал, просыпаюсь опять старик тут. Впоследствии времени уж он и стыд потерял. Я к нему услаивать, а он на меня с корягой так

и кидается, так и наскაკивает. Ах, ты, господи! Выбился я на вторые сутки из сил, вижу: либо мне, либо ему не жить. Стал супротив его на тропке, дожидаясь. Увидел он, что я стою, да, видно, не испугался: так сослепу с корягой и лезет. А я стою, голосом реву, слезами плачу, вышел уже изо всякого терпения, нет моей мочи. Подскочил он ко мне, замахнулся - бац шелепом по голове. Изловчился-таки достать порядочно... Ну, тут уж я ожесточился, вырвал корягу, ударил раз и другой... Да тут же и сам свалился, заснул. Ночью проснулся - так мне и кажется, что опять старик крадется в тайге потихоньку. Да нет: лежит на тропке, не шевельнется. Схватил я тут котомку да опять бежать. Ни сна, ни отдыху; иду-иду, а самому кажется, что никогда мне из этой тайги не выйти; и все сзади будто старик идет, сопит, переваливается, нагоняет... Как уж я вышел к деревне - и сам не знаю: подняли меня сибиряки у поскотины замертво... Да, так вот оно, дело-то... Иной человек и век проживет без греха. Сходит к празднику в церковь, оттуда домой придет, о божественном разговаривает с детьми, потом пообеда-

ет, ложится спать... Совесть, думает, чиста у меня, не как у прочих других. А между прочим, может, и совесть потому у него чистая, что горя он не видал да на линию такую поставлен. А вот моя линия совсем другая... И совесть у меня нечиста, а иной раз так даже и места себе не найду... И по сию пору, бывает, старик этот не дает мне покою. Потому что, не иначе, думаю я, только что был он тогда вроде как в горячке. А я ею, больного человека, убил... Как же теперь, по вашему-то: должен я за это отвечать или нет?..

## VI

Не дожидаясь ответа. Бесприютный вдруг сошел с дороги и остановился. Невдалеке виднелась уже кривая сосна. Этапные проходили мимо, и староста занялся счетом людей, не обращая более внимания на молодого человека, который остановился с ним рядом.

Последняя телега поравнялась с ними. На ней сидело несколько женщин, и старый Хомяк глядел с нее своими оловянными глазами. Староста подошел к телеге.

- Что, старичок божий, хорошо ли сидеть-то? - спросил он, взявшись, по обыкнове-

нию, за переплет телеги.

Старые губы прошамкали что-то невнятное.

- Стар дедушка, - сказал Семенов.

- Не очень, должно быть, - насмешливо возразил Федор. - Год назад еще его в Одессе отодрали. Ничего - выдержал. Стало быть, еще молодец.

- Что вы это, Федор, говорите?

- То и говорю, что было. По закону, оно конечно, не надо бы, да про закон вспомнили, когда уже всыпали. Ну, что же тут поделаешь - назад не вернешь.

Старый Хомяк закачал головой, его морщинистое лицо пришло в движение, глаза заморгали, и в первый раз Семенов услышал его голос. Он повернулся к Бесприютному, уставился на него глазами и сказал:

- Ничего не поделаешь, парень! Да, ничего не поделаешь.

Он говорил ровным дребезжавшим голосом, бесстрастным, как его тусклый взгляд, хотя, по-видимому, находился в состоянии оживления, на какое только был способен. Долго еще шамкали и двигались бескровные

губы, голова шевелилась, даже полуседые волосы, торчавшие из-под шапки, казалось, задорно поднимаются, и среди невнятного шамканья слышалась все та же фраза:

- Ничего не поделаешь!

При этом Бесприютного старик называл парнем или малым, вероятно, по старой памяти.

- То-то и я говорю, ничего не поделаешь, всыпали, так уж назад не высыпешь, - ответил Федор с выражением грубоватой насмешки; была ли это действительно насмешка, или под ней скрывались горечь и участие, Семенов не мог разобрать. Резкие черты Федора были довольно грубы, и не особенно подвижная обветренная физиономия плохо передавала тонкие оттенки выражения.

За поворотом от кривой сосны действительно открылся и этап. Высокий частокол с зубчатым гребнем скрывал крышу здания; лес подступал к нему с трех сторон. Невдалеке, под темной стеной тайги, небольшая деревушка искрилась несколькими красными огоньками, между тем как дома уже терялись в тумане. Невеселый сибирский пейзаж охва-

тывал кругом печальные здания этапа; вечерний сумрак делал картину еще грустнее, но партия весело и шумно огибала угол частокола и входила в отворенные ворота: ужин манил изголодавшихся, широкие нары - усталых.

Один Бесприютный не изменил походки, не прибавил шагу. Он только окинул этап быстрым, угрюмым взглядом, как бы желая убедиться, что все осталось без перемен с тех пор, как он был здесь в последний раз.

Все было по-прежнему, только разве лес несколько отступил от частокола, оставив пни и обнажив кочковатое болото, да частокол еще более потемнел, да караулка еще более покосилась. И бродяга отвел глаза от знакомого здания. Да, все здесь в порядке... здания сгибаются от старости, как и люди, старые окна глядят так же тускло, как и старые очи... Он знал это и прежде.

Посмотрев еще раз кругом на оставшуюся сзади только что пройденную дорогу, на темнеющий лес, на огоньки деревушки, на стаю ворон, кружившихся и каркавших над болотом, и проводив в ворота последнюю телегу,

на которой сидел Хомяк, староста сам вошел во двор этапа, где уже слышались шум голов и суэта располагавшейся на ночевку партии.

## VIII

Первая суэта стихла в старом этапном здании. Места заняты, споры об этих местах окончены. Арестанты лежат на нарах, сидят кучками, играют в три листика, иные уже дремлют. Из отдельных, "семейных", камер слышится крик ребят, матери баюкают грудных детей, а в окна и открытые двери глядит сырая, но теплая сибирская ночь, и полная луна всплывает красноватым шаром над зубцами частокола.

Часа через полтора после прибытия партии два арестанта-кашевара внесли в общую камеру на шесте ушат со щами. Бесприютный вошел вместе с ними из кухни и стал у стола, чтобы наблюдать за раздачей партии горячей пищи. Арестанты засуетились, разбились на кучки. Каждая кучка посылала от себя человека с посудой, который, подходя к столу, проносил: пятеро, четверо, шестеро - и соответственно с этим получал пять, шесть, четыре

больших ложки щей. Больные и женщины, кормившие грудью детей, имели при раздаче преимущество, и Бесприютный внимательно и деловито следил за правильностью раздачи.

В это время в ночном воздухе, там, за оградой, послышался топот приближавшейся к этапу тройки. Тройка катила лихо, но под дугой заливался не почтовый колокольчик, а бились и "шаркотали" бубенцы.

- Эй, подтянись, ребята, смирно! - высунулся головой один из караульных. - Чай, это инспектор приехал.

Среди арестантов произошло невольное движение, которое Бесприютный прекратил спокойным замечанием:

- Подходи, ребята, подходи, полно!

И раздача продолжалась прежним порядком, а Бесприютный стоял у стола с тем же равнодушным видом человека, мало заинтересованного всем происходящим.

Раздача еще не совсем кончилась, когда на пороге, выступая из темноты, появилась полная фигура немолодого уже полковника.

- Здорово, ребята! - сказал он тем бодрым и



добродушно-веселым тоном, которым приветствуют обыкновенно подчиненную толпу добрые и благодушные начальники.

- Желаем здравия, ваше скородие, - нестройно ответили в камере, и арестанты повстали с мест, с ложками в руках. Иные стали вылезать из-под нар.

- Оставь, ребята, оставь, ничего! - махнул он рукой, входя в камеру. За ним вошел начальник этапа, болезненный и худой офицер, да еще два-три молоденьких прапорщика конвойной команды. Фельдфебель, молодецкато выпятив грудь, вынырнул из темноты и мгновенно прилип к косяку вытянутой фигурой.

- Хлеб-соль, ребята! - продолжал полковник, обходя кругом средних нар. - Не имеете ли претензий?

- Никак нет, ваше скородие, - слышались опять голоса.

- Ну и отлично, ребятунки! А каковы у вас щи? Хороши ли? - И с этими словами он направился к тому концу, где стоял Бесприютный у опорожненного почти ушата. Полковник среди раздававшейся толпы арестантов

шел тяжеловатой, но свободной походкой человека, который знает, что эта толпа уже заранее к нему расположена, что на него обращены одобрительные взгляды. Казалось, он испытывал самодовольное чувство от сознания, что он добрый начальник, что он знает, как можно говорить с этими преступными людьми, что он умеет с ними ладить.

Староста стоял на своем месте, и его глаза по-прежнему следили за ложкой разливальщика, причем ни один мускул не шевельнулся при входе и приближении начальника. На мгновение только его быстрый испытующий взгляд остановился на толстой фигуре полковника с тем же выражением, с каким он исследовал за несколько часов перед тем покосившиеся этапные постройки. Казалось, расплывшаяся и несколько обрюзглая фигура инспектора доставила бродяге материал для нового, хотя и не неожиданного заключения. Затем он равнодушно отвел глаза и занялся своим делом.

Но полковник, заметивший бродягу еще на половине своего пути, оказал ему более внимания. Он прибавил шаг, потом, прибли-

зившись, быстро и внезапно остановился, причем ножны его сабли с размаху ударили по коротким ногам. Откинув назад голову с широким добродушным лицом, он взглянул на бродягу из-под громадного козырька и хлопнул себя рукой по бедру.

- Панов! Бесприютный! Да, никак, это ты!

- Я самый, - ответил бродяга, опять кидая на полковника равнодушный короткий взгляд.

- Вот! Сразу узнал, - не без самодовольства обратился полковник к следовавшей за ним кучке подчиненных. - А ведь имейте в виду: уже более двадцати лет я его не встречал. Так, что ли? Да ты меня, братец, узнал ли?

- Как не признать, - ответил Бесприютный спокойно и затем прибавил: Да! Чать, не менее двадцати-то лет...

- Двадцать, двадцать, я тебе верно говорю! Уж я не ошибусь, - у меня, братец, память! Да. Имейте в виду, господа, - это было два года спустя после моего поступления на службу, как мы с ним встретились первый раз. Как же! Мы с ним старые знакомцы. Много, братец, много воды утекло.

- Так точно, ваше высокородие, - ответил бродяга равнодушно. Казалось, он не видел особенных причин к тому, чтобы радоваться и этой встрече, и вызванным ею воспоминаниям.

- Ну, каково поживаешь, братец, каково поживаешь? - И добряк полковник присел на угол нары с очевидным намерением удостоить бродягу благосклонным разговором.

Бесприютный ничего не ответил, но это не остановило словоохотливого полковника. Повернувшись в свободной и непринужденной позе фамильярничавшего начальника к стоящим за ним офицерам, он сказал, указывая через плечо на бродягу большим пальцем:

- Русская поговорка, гора, дескать, с горой не сходится!.. Да-с... Вот она, судьба-то, сводит. Имейте в виду, господа, двадцать лет назад я вел партию в первый раз. Понимаете, молодой прапорщик, первый мундир, эполеты, одним словом - начинал карьеру. А он в то время бежал во второй раз и был пойман. Он молодой, и я молодой... Оба молодые люди у порога, так сказать, жизни... И вот судьба сводит опять... Знаете, для ума много, так сказать...

Понимаете, для размышления...

Почувствовав некоторое затруднение в точной формулировке тех философских заключений, которые теснились под его форменной фуражкой, полковник быстро повернулся опять к бродяге и измерил его с ног до головы пристальным и любопытным взглядом.

Фигура Бесприютного как-то потемнела; он насупился и как будто слегка растерялся. Но полковник, не замечавший, по-видимому, ничего, кроме своего собственного прекраснодушия, продолжал осматривать свою собеседника и при этом слегка покачал головой.

- Постарел, братец, постарел. А что! Я, брат, слышал, что ты с тех пор еще несколько раз бегал. Небось раз десять пускался, а?

- Тринадцать раз, - глухо ответил Панов.

- Ай-ай-ай. Имейте в виду, - повернулся опять полковник к молодым офицерам, - и все неудачно!

Инспектор покачал опять головой с видом глубокого сожаления. И это сожаление было совершенно искренно. Конечно, в то время, когда он конвоировал партию, и после, бу-

дучи начальником этапа, он не только не отпустил бы Панова на волю, но даже, пожалуй, усилил бы в иных случаях надзор за ловким бродягой. Конечно, и теперь в случае побега он постарался бы с особенным усердием устроить облаву, потому что этого требовали прямые интересы его службы. Но ведь Панов-Бесприютный мог убежать не у него (у него вообще не бегали); он мог уйти с каторги или поселения, и, в этом случае встретившись с ним где-нибудь на тракту, полковник без сомнения дал бы ему рубль на дорогу и проводил бы старого знакомца добрыми пожеланиями. Теперь он искренно жалел человека, с которым его связывали воспоминания о давнем прошлом. Когда он начинал свою карьеру молодым урядником конвойной команды, Бесприютный начинал карьеру бродяги, и теперь в сердце полковника оживили давние приятные ощущения. Он был тогда молод, усики только что пробились над губой и доставляли ему такое же удовольствие, как и новый мундир и погоны; все это наполняло его жизнь радостью и блеском. С тех пор он подвигался вперед и вперед по ровной, прото-

ренной и верно расчищенной дороге. Молодому прапорщику жизнь представлялась целой лестницей повышений. Если во столько-то лет он достигнет чина поручика, то, наверно, умрет полковником... а при успехе... Теперь полковник оглядывался назад на пройденное пространство и видел с удовольствием, что он ушел гораздо дальше, чем это представлялось безусому фендрику: вот он еще бодр и крепок, а уже достиг высшего предела своих молодых мечтаний. Он уже полковник, и все, чего удастся еще добиться по службе, будет сверхсметным подарком судьбы. И старик инспектор был доволен своей трезвой, благоразумной, уравновешенной жизнью; у него была семья; сына он поставил сразу гораздо выше, чем стоял сам при начале пути дочери он дал приданое, потому что он не пьяница и не картежник, как многие другие. А исполнив все это, он спокойно сомкнет глаза перед последним часом, потому что и там, в другом мире, его формуляр - в этом он твердо убежден - заслужит полное одобрение.

Да, вот какова его жизнь! А ведь не все умеют так устраивать ее. Полковник испыты-

вал в глубине сердца - под сожалением к бродяге - еще то особенное чувство, которое заставляет человека тем более ценить свой уютный угол, свой очаг, когда он вспоминает об одиноком и усталом путнике, пробирающемся во тьме под метелью и ветром безвестной и нерадостной тропой.

Хорошо полковнику, согревшему свою жизнь светом общепризнанных солидных добродетелей. А вот он - старый бродяга - стоит перед ним, сторбившись, в том же сером халате, с тем же тузом на спине, с сединой в волосах, с угрюмой лихорадкой во взгляде. Да, карьера Панова, связанная в воспоминании полковника с началом его собственной карьеры, - не удалась. Несмотря на всю силу и удачу, несмотря на то, что имя Панова гремит по всему тракту, что об его ловкости и влиянии сложились целые легенды, что его имя от Урала и до Амура известно всем гораздо более, чем знают имя полковника, даже в районе его служебного влияния, - все же к этому имени всюду прибавляется один эпитет - несчастного, незадачливого бродяги.

Полковник опять повернулся к своим спут-



никам, и во взгляде, который он бросил им, заключалось целое невысказанное наставление. Наставление, очевидно, было понятно, потому что молоденький урядник, державший в руках новенькую папаху с кокардой, тоже посмотрел на бродягу и покачал головой; за ним так же укоризненно покачали головами два его сотоварища. Только один смотритель этапа, худой, с раздражительным и угрюмым лицом, не обращал на слова философствовавшего начальника никакого внимания, и вся его фигура обличала по меньшей мере равнодушие и пассивное неодобрение. Впрочем, может быть, это происходило оттого, что Степанов, немолодой уже поручик, и вообще-то не вполне соответствовал видам начальства, получал частые выговоры, а теперь, кажется, был еще вдобавок с похмелья.

- Удалось ли хоть побывать на родине? - спросил опять полковник бродягу.

- До своей губернии доходил два раза, - говорит бродяга и затем добавляет глуше: - в своем месте не бывал на разу.

- Ай-ай-ай! - закачал опять головой полковник, и затем, усевшись поудобнее на нарах,

он положил локти на коленях и, сложив руки ладонями, подался туловищем вперед, как человек, располагающийся побеседовать подольше. Раздача была кончена, ушат убрали, у Бесприютного не было больше дела у стола, но он стоял на том же месте. Теперь у него не было уже того равнодушно-горделивого вида, как прежде. Окруженный кучей арестантов, стоявших на почтительном отдалении, бродяга стоял с несколько растерянным видом прямо перед сидевшим в свободной позе инспектором.

- Ну, - произнес тот, усевшись, - скажи ты мне, куда ты все бегаешь?

Бродяга еще больше растерялся, и, если бы полковник был несколько наблюдательнее, у него, вероятно, не хватило бы духу продолжать свой допрос. Но он принадлежал к числу тех людей, для которых самодовольное прекраснотушие застилает все происходящее перед их глазами. В этом была его несомненная сила, и Бесприютный как-то растерянно ответил:

- Да как же, ваше высокородие, в свою сторону хочется все...

- Так! - сказал полковник. - А давно ли ты оттуда?

- Дитёй оттуда, ваше высококородие.

- Отец твой ведь помер в Сибири?.. Ну, а мать-то жива?

- Нету. Ранее еще померла, без матери вырос, - сказал Бесприютный, и затем как-то робко, будто высказывая последний аргумент и вместе боясь за него перед лицом этого беспощадно-здравомыслящего человека, он добавил: Сестра у меня родная...

- Сестра! Пишет она тебе письма?

- Где уж писать!

- Может, и она умерла давно.

- Две было, - протестует бродяга.

- Ну, пусть. Ну, допустим, обе они живы. Так ведь они теперь замужем, своя семья у них, дети. И вдруг явишься ты, беспаспортный, беглый из Сибири... Думаешь - обрадуются? Что им с тобой делать?.. Имейте в виду, господа, - повернулся опять полковник с своим поучением к молодежи, - я знаю этих людей: чем опытнее бродяга, чем больше исходил свету, тем глупее в житейских делах.

Было что-то ужасное в этой простой сцене.

В голосе полковника звучала такая полная уверенность, что, казалось, сама практическая жизнь говорила его устами, глядела из его несколько заплывших глаз: между тем опытный бродяга, тот самый Бесприютный, который пользовался у сотен людей безусловным авторитетом, стоял перед ним и бормотал что-то, как школьник. Лица обступивших эту группу арестантов были угрюмы. На одной из нар сидел в своей обычной позе Хомяк, и даже он как будто прислушивался к громкому голосу полковника и к тихим ответам Бесприютного.

- Эх, вы! - махнул полковник рукой. - Недавно говорится: горбатого исправит могила!

И затем, переменив тон, он добавил благодушно:

- А постарел ты, братец, сильно постарел. Да и то сказать, все к могиле идем. И я не тот, что был: женился, пятеро детей; старший учение кончает, дочь невеста... Вон меньший карапуз во дворе играет.

Взгляд Бесприютного, который он поднял на полковника, стал как-то тяжел и мутен. Но полковник теперь не глядел на бродягу. Пол-

ковник знал про себя, что он добр, что его любят арестанты "за простоту". Вот и теперь он приехал сюда со своим мальчишкой, и семилетний ребенок играет на дворе с собакой среди снующей по двору кандальной толпы. Прислушавшись, инспектор различил среди наступившей в камере тишины игривое урчание собаки во дворе и звонкий детский смех.

- Васька, эй, Васька! - крикнул полковник.

- Василь Ваныч, - повторил почтительно стоявший у дверей фельдфебель.

На пороге открытой двери появился краснощекий мальчуган в синей косоворотке и военной фуражке. Свет керосиновой лампы на мгновение заслепил его голубые глаза; мальчик с улыбкой закрыл их рукавом, но затем, разглядев отца, он бросился к нему с веселым смехом среди расступающихся арестантов. Физиономия старого полковника расплылась благодушной улыбкой; с нее исчезли последние признаки философского глубокомыслия; он поставил около себя своего любимца и, положив ему на голову свою руку, повернул лицо мальчика к бродяге.

- Вон какой растет, - произнес он. - Это у ме-

ня самый младший, а ведь тогда, как мы с тобой в первый-то раз шли, я еще сам молоко-сос был.

Мальчика не пугала серая толпа, окружавшая его со всех сторон в этой камере, - он привык к этим лицам, привык к звону кандалов, и не одна жесткая рука каторжника или бродяги гладила его белокурые волосы. Но, очевидно, в лице одиноко стоявшего перед отцом его человека, в его воспаленных глазах, устремленных с каким-то тяжелым недоумением на отца и на ребенка, было что-то особенное, потому что мальчик вдруг присмирел, прижался к отцу головой и тихо сказал:

- Папа, пойдём отсюда!.. Папочка!..

- В самом деле пора. Мальчишка набегался за день, поневоле спать захочет. Ну. Бесприютный, прощай. Спокойной ночи, ребята, счастливый путь!

- Вам также, - слышалось откуда-то несколько голосов. Ближайшие арестанты молчали.

Кажется, мальчик на этот раз, по счастливому инстинкту, оказался благоразумнее опытного и "знающего этот народ" инспекто-

ра. Когда отец и сын направились к выходу, Бесприютный провожал их горящими глазами; лицо его сделалось страшно, он скрипел крепко стиснутыми зубами.

## IX

Утомленный дневным переходом, Семенов заснул скоро и, вероятно, очень крепко, потому что очень долго шум, стоявший в камере, не мог его разбудить. Однако мало-помалу крепкий сон стал переходить в беспокойство, потом над ним нависло какое-то дремотное полусознание. Молодой человек слышал неприятный гул голосов, сквозь который прорывался то чей-то оклик, то клочок песни, и опять все эти звуки удалялись, тонули, чтобы опять выделиться с беспокоящею резкостью. Особенно неприятным казался ему один голос, звучавший громче других. Он как будто узнавал его сквозь сон, и от этого ему еще более не хотелось проснуться, не хотелось убедиться в том, что он не ошибся.

- Пей, мамка, пей!.. Эй, жги, нажигай, молодка!

Семенов открыл отяжелевшие веки, и в сиянии тумана душной камеры перед ним обрисовались

совалось красное лицо с горящими глазами. Кто-то сидел на нарах, обнявшись с пьяной простоволосой арестанткой, которая покачивалась и, нагло ухмыляясь по временам, заводила пьяную песню. Большинство арестантов спало, но в центре камеры шла попойка. Увидев все это, Семенов тотчас же опять сомкнул глаза, и двоившееся сознание затуманилось. "Это был только сон", думалось ему во сне об этой картине из действительности.

Но вдруг шум усилился. Молодой человек проснулся и некоторое время не мог отдать себе отчета в том, что перед ним происходило, - в камере кто-то плакал, как-то дико и с причитаниями. Это был голос Бесприютного, и к нему примешивались пьяные причитания арестантки.

- Феди-инька, горемышно-ой!.. О-ох-ох-хо-о-о!..

И пьяная простоволосая баба тянулась руками, стараясь приподнять голову Бесприютного, припавшего к нарам, а сам Бесприютный как-то глухо и протяжно ревел. Это не был плач пьяного человека и не прерывистое рыдание мгновенно прорвавшегося горя. Это



был именно протяжный грудной рев, как-то безнадежно, ужасающе ровный, долгий, которому, казалось, не будет конца. В камере воцарилось гробовое молчание. Арестанты приподнимались на нарах; недоумевающие лица обращались к Бесприютному, и на них виднелось общее выражение испуга.

Вдруг Бесприютный поднял голову и обвел взглядом всю камеру. Казалось, водка не оказала на него обычного действия: его глаза не затуманились, черты не расплылись. Напротив, бледное лицо стало как будто суше и резче, а взгляд горел.

Он тяжело приподнялся, опираясь руками на нары, и все искал кого-то блуждающим взором. Вдруг он увидел Семенова, который смотрел на бродягу вдумчиво и с участием. Во взгляде Бесприютного мелькнуло определенное выражение.

- А, барин! - крикнул вдруг Бесприютный, подаваясь всем могучим корпусом вперед, и скверное циничное ругательство сорвалось с его языка. Ва-апросы, - продолжал с горькой язвительностью, - я, брат, и сам спрашивать мастер... Нет, ты мне скажи: за что я отвечать

должон - вот что. А то ва-апросы! На сигарки я твою книгу искурил... ха-ха!.. Се-естра! У меня у самого сестра.

И опять ругательства полились уже по адресу сестры, на тот раз еще более циничные и ожесточенные. Казалось, он чувствовал особое, злобное наслаждение, втоптывая в грязь свою мечту о мифической сестре; и вместе с тем безумный огонь в его глазах разгорался еще сильнее, а из груди вырывался сухой кашель, похожий на глухие стоны.

Он замолчал и опустил голову. Когда он поднял ее, выражение лица изменилось.

- Из лесу выйду, - заговорил он опять, глядя куда-то в пространство тоскующим взглядом, - люди этта в полях копошатся, чего-то работают, стараются... А я гляжу на них, точно волк из кустов... А что делают, для чего стараются... не знаю!..

Гробовое молчание камеры, казалось, стало еще глубже. Освещенная сальным огарком, она вся замерла, хотя не спал в ней никто, и отрывистые жалобы и проклятия бродяги с какою-то тяжелою отчетливостью падали в испуганную, взволнованную и сочув-

ственную толпу. Даже пьяная арестантка прекратила свои причитания и уставилась на Бесприютного мутным застывшим взглядом.

Вдруг среди тишины раздался дребезжащий голос старого Хомяка. Уже несколько минут назад старик, кряхтя и охая, медленно сполз с нары и направился к Федору. Теперь он остановился по другую сторону нар и произнес своим обычным тоном:

- Ничего не поделаешь, парень... Д-да!..

И затем прибавил с более определенным выражением:

- Терпи, Федор, терпи, паренек. Ничего не поделаешь.

Помутившийся от внутренней боли взгляд Федора повернулся к Хомяку.

- А ты, старый сыч! Молчи, поротая собака!.. Что? Думаешь, и я эдак же? И меня в девяносто лет... пороть... Н-нет же!.. - стукнул он кулаком по нарам так, что дерево затрещало, и в то же мгновение в камере началась невообразимая возня. Семенов видел только, как в руках Бесприютного сверкнуло что-то, как ближайšie арестанты кинулись на него. Завязалась борьба. Федор рвался и бился, как бе-

шенный зверь, но толпа, без вражды и гнева, но с молчаливым испугом настойчиво боролась с одним человеком. Более робкие повскакали на нарах, крестясь и вздыхая.

Наконец толпа осилила. Несколько тел грузно рухнулись на пол.

- Берегись, братцы, ножик!

Отнятый у Панова и кинутый чьей-то рукой из толпы ножик с лязгом упал на пустые нары. Из груди Бесприютного вырвался стон, и затем он только храпел и глухо рыдал. Его вязали.

- Господи, царица небесная, - пугливо причитал чахлый арестант, глядевший на всю эту сцену широко раскрытыми лихорадочными глазами.

Когда, привлеченные шумом, в открытые настежь двери камеры вошли конвойные солдаты, все было кончено. Панов, весь опутанный веревками, принесенными наскоро со двора, где висело белье, уже лежал на нарах. Он глухо рычал и безумно озирался, крепко стиснув губы, на которых виднелась красноватая пена. Лицо страшно побледнело, и на нем резко виднелись черные огромные

глаза, в которых теперь исчезло всякое выражение. С какой-то ужасающей размеренностью бродяга поворачивал голову, останавливая взгляд на ком-нибудь из арестантов. По всем вероятностям, он никого не видел; однако когда молодой человек почувствовал на себе этот упорный взгляд, ему сделалось жутко.

Понемногу разговоры стихли; усталые, измученные борьбой арестанты улеглись по нарам, оставив около связанного троих караульных. Хомяк подошел было к нему, но, увидев его, Федор заметался так враждебно, что старик отошел. Кряхтя и охая, он уселся в обычной позе невдалеке от Федора, но так, что тот не мог его видеть, и все стихло. В окна глядела ночь, свеча нагорела и вздрагивала, по временам стонал и ворочался связанный бродяга да храпел уже кое-кто из арестантов. Молодой человек тоже забылся, но его дремота странно сливалась с бодрствованием: он все время сознавал на себе тяжелый взгляд лежавшего насупротив бродяги.

Много ли времени прошло таким образом, сказать было бы трудно, но вдруг молодой человек встрепенулся, и его дремоты мгновенно

но как не бывало. Прямо против него на нарах сидел Федор, по-прежнему опутанный веревками, но теперь его глаза смотрели сознательно.

- Барин, а барин! - тихо звал Семенова бродяга, и этот тихий возглас разбудил молодого человека. По-видимому, его услышал также старый Хомяк. Он раскрыл глаза и, тяжело кряхтя, спустился с лавки. Остальные арестанты крепко спали; спали даже приставленные к Федору караульные, прислонившись спинами к колонке и низко свесив головы.

Хомяк подошел к Федору, вздохнул и сказал со старческим сожалением:

- Эх, паренек, паренек!..

Покачав головой и вздохнув, он прибавил обычную сентенцию:

- Что тут поделаешь, терпи! - и затем стал развязывать дрожащими руками веревки.

- Барин, помоги развязать, - сказал Федор Семенову.

Тот подошел и, вынув перочинный ножик, разрезал веревку в нескольких местах. Лицо бродяги было бледно; глаза глядели хотя и

угрюмо, но совершенно сознательно, так что молодой человек нисколько не колебался исполнить обращенную к нему просьбу Бесприютного. Последний встал на ноги, кивнул головой и, потупясь, быстро вышел из камеры. Протягивая перед собой руки, пошел за ним и Хомяк.

Молодой человек посмотрел им вслед и затем, улегшись на наре, выглянул в окно. На дворе было темно. Две фигуры медленно ходили взад и вперед, о чем-то разговаривая. Семенов не слышал слов, и только грудной голос Бесприютного долетал до его слуха. Казалось, бродяга жаловался на что-то, изливая перед стариком наболевшую душу. Временами среди этой речи дребезжали старческие ответы, в которых молодому человеку слышалась неизменная безнадежная формула смирения перед судьбой.

Наконец Федор подвел старика к стене, подстлал свой халат и уложил старого бродягу. А сам уселся на ступенях крыльца, так что молодому человеку была видна вся его фигура.

И долго сидел этот человек, опустив голову и не шевелясь, и молодой человек, крепко

прижавшись горячей головой к холодному железу решеток, смотрел на него и думал.

А ночь все лежала над двором, безмолвная и темная.

Х

Этапный двор казался угрюм и неприветлив. Ровная с прибитой пылью площадка замыкалась забором. Столбы частокола, поднявшись рядами, встали угрюмой тенью между взглядом и просторною далью. Зубчатый гребень как-то сурово рисовался на темной синеве ночного неба. Двор казался какой-то коробкой... в тени смутно виднелся ворот колодца и еще неясные очертания каких-то предметов. Глухое бормотание и дыхание спящих арестантов неслись из открытых окон...

Сверху темнота налегла на эту коробку плотной непроницаемой крышкой. Где-то далеко в вышине, вглядевшись, молодой человек различил неясные очертания белесоватого облака, тихо плывшего над этой коробкой. Но очертания были нежны, смутны; казалось, этот бесцветный призрак облака тонул и терялся в густой темноте, наводя своим неопределенным движением грустные, тоскливые



грезы...

И молодому человеку показалось в эту темную безлунную ночь, что весь мир замкнулся для него этой зубчатой стеной... Весь мир сомкнулся, затих и замер, оградившись частоколом и захлопнувшись синеватою тьмою неба. И никого больше не было в мире... Был только он да эта темная неподвижно сидевшая на ступеньках фигура... Молодой человек отрешился от всего, что его волновало гневом, надеждами, запросами среди шума и грохота жизни, которая где-то катилась там... далеко... за этими стенами...

Это было когда-то давно. Теперь ему ни до чего не было дела, кроме одной мрачной и неподвижной фигуры...

И по неясной для него самой аналогии в его воспоминании наряду с этой темной фигурой возникала другая, вставал в душе эпизод далекого детства.

Отца его все любили. Он был добр и великодушен - сердит, да отходчив. За обиду он вознаграждал всегда очень щедро, и многие сами напрашивались на обиду, чтобы потом воспользоваться великодушием сожаления.

Однажды отец нанял молодого лакея. Говорили, что это сирота, что ему выпало счастье в виде места у доброго барина. Это был странный человек, не похожий на остальную дворню, чуткий и гордый. Отец вспылил как-то, разгневался и при всех ударит молодого лакея. Потом оказалось, что отец был совершенно не прав. Семенов вспомнил болезненное, горькое, исполненное недоумения выражение на лице оскорбленного. На другой день молодой слуга ушел. Связал свои вещи в узелок, надел узелок на палку, вышел за ворота и тихо, не оглянувшись, ушел по дороге. Мальчик долго глядел, и на глазах его были слезы, потому что он не знал, откуда пришел этот Павел и куда он ушел, он знал только, что ему было плохо и будет еще хуже... Но он ушел, потому что над ним совершена несправедливость. Отец предлагал ему денег, извинялся перед ним, уговаривал его, но он, отвернув глаза в сторону, твердил одно: "Прощайте, пан, пойду". И пошел.

Но раньше чем уйти, всю ночь до утра он просидел на крыльце, и мальчик долго смотрел на него из окна. Павел сидел точь-в-точь

так, как теперь сидел бродяга: опустив голову, не двигаясь, точно будто он окаменел или спит непробудным тяжелым сном. Он не спал, а только тосковал о том, что добрый человек, которого все любили и которого он тоже начал любить, совершил над ним жестокую неизгладимую несправедливость. И мальчик никогда не мог забыть этого ночного часа, и этой фигуры, и совершенной над этим человеком несправедливости. Он не примирился с нею, и даже теперь, когда он вспоминал об отце, к его любви и к еѹ грусти примешивалось воспоминание о тяжелой, неизгладимой и неизглаженной неправде.

И вот опять такая же ночь и такая же фигура. Но теперь не отец виноват в тяжелой неправде... Виноват кто-то другой, тоже любимый и тоже для многих других великодушный и щедрый... Жизнь над бродягой совершила эту страшную несправедливость...

И молодой человек с горечью отворачивался от того, что называют жизнью, яркой, веселой, сверкающей, гремящей, живой и неудержимо катящей свои волны. Душа одного человека - это целый мир, и вот этот мир в

душе бродяги отравлен тяжелой неправдой. За что?

Теперь эта душа открылась перед молодым человеком; он понял, чего искал бродяга своим темным умом; понял, что и перед человеком с грубыми чертами могут вставать проклятые вопросы. Жизнь оскорбила этого человека - вот он восстал, и он ставит эти вопросы, обращая их к жизни, требуя у нее ответа.

То, что другим дается как подарок, с рождения, что составляет как бы воздух, которым грудь дышит даже без сознания этого блага, то для бродяги иллюзия. "У меня тоже сестра!" Тоже, как и у других, как у всех людей!.. Да, в устах бродяги это только иллюзия, это надежда, миф, идеал. Как у всех! Бродяга мечтал о том, чтобы быть, как все, мечтал наивно, и эта мечта разбивалась, как все недостижимые иллюзии.

Уйти? Но куда же? Павел - тот вскинул свою палку на плечи, шел, шел по прямой дороге, все уменьшаясь, мелькнул беленькой точкой у самого леса, который составлял для мальчика грань видимую мира. Мелькнул еще раз и скрылся. Будет ли ему там хорошо

или дурно, найдет ли он там забвение горькой обиды, спокойствие, счастье или тягчайшие, еще более жестокие обиды?..

Сегодня, после того как последние иллюзии жизни разбиты практическим полковником, бродяга тоже пытался уйти, совсем расчитаться с жизнью. Но куда бы он ушел? Что встретил бы там, за краем видимого мира?.. За что он должен ответить и кто перед ним ответит? Забвение ждет его или награда за страдания? Или в самом деле - ничего, этот мир - душа человека, мир, отравленный ядом незаслуженного страдания, - промелькнул и исчезнет, оставив в общем балансе природы одно ничем не вознагражденное, ничем не уравновешенное страдание?..

Вот как понимал молодой человек теперь все вопросы бродяги, его поиски в книгах, его иллюзии. Вот о чем он думал, глядя с переполненным сердцем на темную неподвижную фигуру.

О чем же в эту ночь думал сам бродяга? Быть может, он ни о чем теперь не думал, а только ощущал в сердце тяжесть от обломков разбитых надежд и боялся пошевелиться,

чтобы вместе с ним не зашевелилась глухая тоска. И потому он сидел, опустив голову и с закрытыми глазами.

А между тем ночь бежала и убегала своим обычным путем, и мир начинал пробуждаться. Жизнь тихо, неслышно, но неуклонно прокрадывалась на маленький дворик. Сначала темная крышка, плотно надвинувшаяся сверху, стала будто приподыматься. Дыхание утра легко развеяло сумрачную серую тьму ночи... Небо засинело, стало прозрачнее, взгляд молодого человека уходил все дальше и дальше ввысь. Мир сверху раздвигался, маня синим простором.

Потом розовые лучи разлились по небу с восточной стороны и, смешавшись с сумерками, заиграли на зубцах частокола. Это розовое сияние упало вниз на землю, где прежде лежала густая тень, мягко легло на дерево колодца, на прибитую росой пыль, заиграло в капельках на траве и разливалось все обильнее и дальше.

Затем белая тучка выглянула краем из-за зубцов частокола. Она будто заглянула во двор и понеслась вверх, все выше и выше. За

ней другая, третья. И чем быстрее неслись они, играя и переливая лучами, тем яснее было видно, как они высоко, как бесконечно велик свод...

Встрепенувшись от холода и росы, жаворонок, спавший за кочкой вне ограды, вдруг поднялся от земли и, кинувшись вверх, точно камень, брошенный сильной рукой, посыпал оттуда яркой, нежной, веселой трелью. И вслед за тем мысль молодого человека перешагнула за ограду, и опять сверкающий, манящий, живой мир развернулся перед его воображением. Он увидел, как тихо колышутся ветки елей под дуновеньем утреннего ветра. Там вьется меж деревьев еще спокойная и безмолвная дорога, там ручей журчит и бормочет под белой пеленой утреннего тумана... И речка, и луга, и горы - все встало в воображении молодого человека и потянулось вдоль необозримой, бесконечно разнообразной перспективой.

Свежее дуновение утра коснулось также и неподвижной фигуры сидевшего на крыльце человека. Бесприютный вздрогнул от холода, пробежавшего по спине, повел плечами и

поднял голову. Затуманенным взглядом он посмотрел на небо.

Из "семейной" камеры вдруг послышался плач ребенка, и эти неудержимые всхлипывания резко пронеслись из окна по этапному дворику. Когда ребенок смолкал на время, тогда было слышно дыхание спящих, чье-то сонное бормотание и храп. Но вскоре детский плач раздавался опять, наполняя собой тишину свежего утра.

Бледная, изможденная, вышла на крыльцо мать ребенка. Месяца два назад она родила, и теперь в дороге, несмотря на все трудности, на собственные страдания, она с материнской неутомимостью и энергией отстаивала юную жизнь. И, по-видимому, старанья не оставались безуспешны: достаточно было прислушаться к звонкому, крепкому и настойчивому крику ребенка, чтобы получить представление о здоровой груди и хороших легких.

Нельзя было того же сказать о матери. Некрасивое, испитое и изможденное лицо носило следы крайнего утомления: глаза были окружены синевою: она кормила и вместе с



тем вынуждена была продаваться за деньги, чтобы покупать молоко и окружить ребенка возможными в этом положении удобствами. Теперь она стояла на крыльце, слегка покачиваясь на нетвердых ногах. Она, казалось, все еще спала, и если двигалась, то лишь под впечатлением детского крика, который управлял ею, помимо ее сознания.

Бесприютный поднялся.

- Матрена! - окликнул он женщину, - тебе молока, что ли?

Женщина протерла глаза, увидела Бесприютного, и довольное, доброе выражение появилось на ее сонном лице.

- А, ты здесь, Федор? Никак, уже встал? Да, Федорушко, молочка бы ему: слышь, как заливается.

Федор направился к небольшому домику, где помещались караулка и кухня. Каждый раз с вечера он заготавливал молоко для партионных ребят, и не было еще случая, чтобы он забыл об этом. Не желая будить кашеваров, так как было еще рано, Бесприютный вышел из кухни во двор с охапкой щепок и кастрюлькой. Через минуту синий дымок

взвился кверху, и огонь весело потрескивал и разгорался. Бесприютный держал над пламенем кастрюльку, арестантка, все еще сонная, с выбившейся из-под платка косой, стояла тут же.

- Ишь, заливаается, орет, - произнес Бесприютный, - ты бы хоть грудь дала.

- Чего давать, молока ни капли нету; всю он меня высосал...

- Ишь, бутуз. В кого он такой уродился? Ась?

Арестантка слегка потупилась.

- Да, чать, в Микиту Тобольского, с ним я в ту пору жила, - ответила она грустно. - А ты, Федор, вечер пошумел маленько.

- Пошумел, - ответил Бесприютный, - на вот, тащи. Покорми дитё скорей.

Арестантка ушла. Бесприютный поднялся и прислушался, как мальчишка тянул теплое молоко, жадно ворча и чмокая. Лицо бродяги стало спокойнее.

А между тем день совсем разгорелся. Выкапилось на небо сияющее солнце, лес вздыхал и шумел, шуршали за оградой телеги, слышно было, как весело бежали к водопою лоша-

ди, скрипел очеп колодца.

Жизнь закипала кругом и вливалась также в сердце бродяги. Его лицо было спокойно, как будто вчерашнего не бывало, как будто ожили надежды и образ мифической сестры загорелся всеми живыми красками, как те облака, что бежали в синеве небес...

Бродяга глядел своим обычным взглядом. Выражение горечи опять спряталось куда-то в глубь его спокойных, задумчивых глаз, и в движениях явилась привычная уверенность авторитетного старосты.

Он разбудил кашеваров, потом вошел в общую камеру.

- Ну, вставай, ребята, вставай. Переход ноньче дальний.

- А много ли?

- Тридцать верст до лукояновского этапа.

- Тише, ребята, не возись, - добавил он, взглянув в сторону, где было место молодого человека. - Барин вон заснул... Чай, всю ночь не спал - не буди! Уходить станем, тогда побудим.

Действительно, молодой человек спал. Он вздыхал полной грудью: чистое бледное лицо

было спокойно, и ветер, врываясь в окно, слегка шевелил его белокурые волнистые волосы...

1886